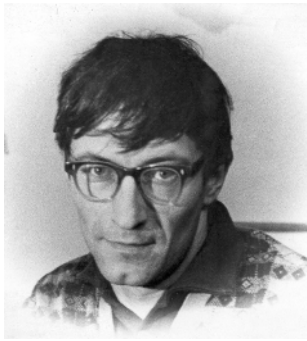


Евгений КУРДАКОВ
(1940 – 2002)



«КОГДА Б НЕ СМУТНОЕ ВЛЕЧЕНЬЕ...»

Памяти А.С. Розанова

Неожиданно началась метель. Чингизские горы сначала задержались серым, потом совершенно слились с небом.

Быстро темнело...

Шофёр включил фары, но в салоне света не зажигал: он видел, что почти все пассажиры дремали, утомлённые этой долгой и трудной дорогой.

Крупный встречный снег надвигался шевелящейся, скручивающейся массой, сплошным потоком, лишь у стекла, в свете фар, разбиваясь на различные отдельности. Снегоочиститель беспрерывно смазывал серое сало снега, оно стекало вниз и вновь моментально накапливалось, вбиваемое скоростью и, наконец, ещё встречным ветром.

Это был первый снег осени, неожиданно ранний, скорее всего, случайный, которому наверняка ещё суждено растаять.

Было только 16 сентября.

— Дорога Абая, — сказал мой спутник, взглядываясь в боковое окно, за которым уже ничего нельзя было разглядеть, — здесь кочевал тобыктинский род, род Абая... Унылые места... Но весной здесь красота... Цветы, птицы...

Мой спутник, потирая стекло, ещё некоторое время взглядывался в окно, потом оторвался, уселся поудобнее, вытянув под переднее сиденье ноги свои в серых джинсах, и, нахохлившись, сразу же задремал.

Старый журналист, литератор, заядлый пушкинист-любитель, исколесивший за десятки лет работы собкором все эти степи, он не любил терять напрасну время, тем более из окна не проистекало никакой информации.

Там проистекало пространство...

Миллионы снежинок беспрерывно влетали в сдвоенную

трубу света, образуемую лучами фар, влетали неостановимо, как-то торжественно-обречённо. Они вывинчивались из боковой тьмы, ниоткуда, неожиданно большие и лохматые, — и казалось, что этим бесконечным облетанием множеств рассыпалось в прах само мироздание...

В автобусе уже все спали, однообразно и равномерно покачиваясь; дремали пограничники на заднем сиденье; спали среди своих мешков и ящиков геодезисты. Бодрствовал только маленький сухой старик-казак у прохода. Он сидел неподвижно-прямо, положив костистые тёмные руки на посох, и строго, не моргая, смотрел вперёд, за плечо шофёра, на бесконечную осеннюю дорогу.

Я посмотрел на шофёра. Он нервничал, курил, непрерывно перекачивая папироску в зубах, и напряжённо подёргивал руль, — видимость была нулевая...

Мотор гудел ровно, и я вновь погрузился в раздумья, которые не оставляли меня всю эту поездку...

В такую же осень, 150 лет назад, коляска Пушкина, влекомая почтовой сменной тройкой, катила по тракту Симбирск — Оренбург. Поэт целеустремлённо двигался по пути, пройденному Пугачёвым шестью десятками лет раньше, и оставался ещё один, последний четырёхднев-

ный перегон до самого сердца Пугачёвщины — Оренбурга и Уральска, откуда и разнеслась когда-то на треть империи стихия кровавого, трагически обречённого крестьянского бунта.

Едва ли эта поездка могла добавить что-то существенное к тому, что Пушкин уже отыскал в частных и царских архивах и книгохранилищах. Обильные выписки из всего этого находились здесь же, в дорожном сундучке, на котором посапывал сейчас этот несносный Ипполит, его слуга, нанятый на дорогу в Москве, раздражавший и бесивший Пушкина беспрестанно.

Конечно, документы есть документы, но нужно было вдохнуть и ветер времени, запах этих степей, нужно было здесь отыскать какую-то внутреннюю, ещё не ощутимую точку отправления, вокруг которой, как от закваски, начнёт бродить и оживать безжизненный ещё замес всех этих выписок...

Уже на другой день после Симбирска увалы Общего Сырта стали заметно положе, степь всё смелее и чаще вторгалась в пейзаж, места становились глуше, пустынное. По хлипким мосткам, но чаще вброд экипаж пересекал тихие степные реки, и Пушкин не забывал у очередного возницы справляться об их названиях. И он не мог не заметить некоторой странности здешних имён. Названия рек были

то откровенно тюркские — Сок, Бугуруслан, Кинель, то вдруг начинали перемежаться явно ираноязычными — Уран, Бузулук (не от «бузрук» ли — «великий»?), а то вдруг веяло чем-то уже совершенно библейским — Самара, Сакмара, словно бы отзвук далёкого хазаро-иудейского пласта.

Земля здесь, сейчас малолюдная, была, однако, хорошо протоптана историей, и слои без конца меняли друг друга, застыв теперь в этой странной чересполосице названий...

Автобус всё летел сквозь ночь и снег, и, думая о Пушкине, я вспоминал те места оренбургского Сырта, переходящего в степь, которые знал чуть не наизусть: это была моя родина.

И четыре пушкинских дня в середине сентября 1833 года, в один из которых он пересечёт маленькую крепостцу, теперешний районный городок Бузулук, где я когда-то жил, где прошла моя молодость, где похоронена моя мама, четыре эти дня для меня — предмет постоянной радости, и боли сердца, и постоянных раздумий.

И это не от тщеславного стремления приобщиться косвенно к великому или уловить некий тайный знак в воображаемом пересечении судеб (мало ли людей живут в тех же домах и ходят по тем же дорогам, где бывал и ходил живой Пушкин?); в

этом смутном влечении к постоянному сопутствованию, может быть, самое главное — это само влечение, которое уже вошло в плоть и кровь и стало внутренне привычным и почти родным... И если бы вдруг оказалось, что Пушкин на самом деле миновал мою родину, маленькую крепостцу Бузулук, и проехал гораздо севернее (что, в общем-то, вполне возможно), я лишился бы чего-то важного для себя, к чему привык давно и накрепко...

Собственно, я и увязался в эту поездку с моим немолодым спутником в надежде и ожидании большого разговора с ним, знатоком и ценителем Пушкина, — с тайным желанием подтвердить свои воображаемые, может быть, предположения...

Но всю неделю этой командировки мой спутник метался по району, собирая будущий очерк, а потом, поддавшись своей обострённой журналистской совестливости, выручал из беды какого-то совершенно постороннего человека, — и всё вдруг с этим человеком оказалось не так-то просто, запутаннее и, как всегда в жизни, неоднозначнее. Мой спутник являлся по вечерам в гостиницу — с тёмным от гнева и разочарования лицом, заплётанный, усталый, едва перекусив, бросался в постель, — и у меня не поворачивался язык завести с ним разговор на столь отдалённую от всего этого тему.

Я делал своё маленькое дело в этой необязательной для меня командировке, но больше гулял по пыльным осенним улочкам казахстанского посёлка, так похожим на улочки города моей родины, думал о странностях случайных пересечений в этом мире и ещё о том, что прошлое можно восстановить лишь отчаянным воображением — и то лишь на миг и приблизительно.

Облетали под осенним ветром листья с тополей, и этот ветер ощущался почти как ветер времени, застилающий память бесконечным облетанием множеств...

Коляска Пушкина осторожно спускалась на тормозах с Сухореченской горы к реке. Глинистый сухой спуск вдоль долины ручья становился порой настолько крут, что возница просил барина выйти из коляски. Вдали, внизу за рекой, виднелась крепостца; Пушкин шагал по обочине, отворачиваясь от пыли, и в осеннем небе прямо над головой журчали последние жаворонки.

Скоро, вот-вот, они отлетят на юго-восток, пересекут всю степь и скроются за горами в южном далёком краю.

Так же сорвутся вдаль и здешние степные птицы. Они пронесутся над кочевьями казахского рода тобыкты, где молодой волостной управитель, почти ровесник Пушкина, Кунанбай, будет наблюдать у своей белой

юрты, как взнуздывают двухлетних жеребят. У этого властного и сурового человека с обезображенным оспой лицом через двенадцать лет от одной из четырёх жён — Улжан — родится сын Ибрагим, который станет великим поэтом своего народа — Абам.

В степи, такой просторной и вольной, было беспокойно и тесно; доносились слухи о Кенесары, который с отрядами джигитов опустошал на юге, на землях Большой Орды, зимовки соседей.

Эта степь ещё ждала не только мира и покоя, но и своего пророка и оплакивателя...

А может быть, птицы свернут и устремятся вдоль прямой и широкой долины спокойного в это время Иртыша. Промелькнут внизу мелкие крепостцы, казачьи станицы, желтеющие стернёю косые косынки сжатого хлеба, рогатые стога по лугам... На берегу Бухтармы увидит этих птиц ссыльный декабрист Матвей Иванович Муравьёв-Апостол. Он выйдет посмотреть, как казаки крепости начнут свою первую осеннюю путину, — вот-вот должна пойти нельма, — и заглядится с печалью на небо. Ещё три года отбывать ему в этой крепости ссылку, старшему из трёх братьев-декабристов, но ему пока неизвестно это. Как и неизвестно то, что проживёт он необыкновенно долго — 93 года,

почти вдвое дольше обеих жизней двух своих младших братьев, один из которых уже казнён, а другой застрелился...

Автобус сильно качнуло, мой спутник вздохнул во сне, встретился, как-то недовольно огляделся и вновь задремал. Голова его ушла вбок, рот открылся, и лицо приобрело безмятежно-детское выражение, очень понятное мне, как-то сближающее и упрощающее и наши возрасты, и возможные отношения между нами, стань мы ровесниками.

Я хорошо могу представить его мальчишкой, там, где-нибудь на предвоенном арбатском дворе, где вызванивают велосипеды, треплется бельё на верандах, где с утра до вечера пинают мяч. Сам я ещё не родился, да и родители мои едва знакомы друг с другом, они студенты и гораздо старше моего спутника. Они учатся в военно-медицинской академии, учатся быть готовыми к войне, которая разразится через три или четыре года.

А он в том арбатском дворе. Он подросток — долговяз, черноголов, носат. Походка путаная, ноги отстают от тела, и худые коленки постоянно задевают друг друга.

Почему-то я хорошо могу представить его, он проецируется в своё прошлое легко, как бы упрощаясь и стихая. Вот он,

интеллигент, нытик, обжора и ябеда, и его постоянно лупят... Я бы тоже лупил бы его и обзывал, ибо нет беспощаднее и справедливее суда мальчишеской стихийной стаи...

Да, но как бы я его обзывал?

Ну, конечно же, так, как и все, — Травкой. Травка Попов... Его отец, забытый сейчас детский писатель, написав довольно удачную для тех лет книжку о любопытном мальчишке Травке, с которым в большом городе происходят разнообразные приключения, сильно повредил уличной репутации своего сына, и ему теперь нет прохода. Прототип тайно и на всю жизнь возненавидит героя книжки, давшей отцу личный пожизненный заработок от бесконечных переизданий... Была даже арбатская писательская байка о том, что Попов питается одной «травкой»...

Будет война. И к концу её, когда мне исполнится два или три года, подойдёт срок и моему спутнику надеть военную форму. Он задохнётся от неведомых мне ужасов войны — заряжающим тяжёлого зенитного орудия, на которое летели все бомбы неба. Обстреливающие небо, они сами были настезь открыты ему, они были один на один с этим небом...

Война переломает его. Она переоценит в нём все бывшие ценности, и он простит своих

оставшихся в живых ровесников, он станет любить их и всю жизнь служить им, их памяти.

— Навеки я теперь заряжающий, — несколько напыщенно говорит он в иные минуты, и, в общем, это на самом деле так, хотя слова эти можно бы и не говорить.

Может, всё не так или не вполне так... Ветер времени, как и ветер памяти, имеет свойство преломлять в своей прозрачной массе очевидное, а потом и это всё застилается бесконечным облетанием множеств. Ведь даже и своя прожитая жизнь совсем не та, чем она была на самом деле, она бесконечно редактируется во времени, выщелачивается, иногда просто забалтывается, и в конце концов уже мало остаётся истинного, того, что было...

А что же было, если оно на самом деле было?

Коляска Пушкина прогромыхала по ветхому наплавному мосту через Самару и въехала в крепость.

«Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки...» — так описывал Пушкин в «Капитанской дочке» Белогорскую крепость. Наверняка и наш городишко в те годы был такой же захудалой и ничтожной крепостцей, одной из многих на самарской линейной дистанции.

«Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избышек; по улице бродило несколько куриц».

«Избы низки и большею частию покрыты соломою».

Постоялый двор (умёт) и почтовая станция находились на свёртке, как раз там, где дорога позади крепости углом поворачивала на восток, уже прямо к Оренбургу. В это время в губернию везли хлеб, и коляска Пушкина на въезде в крепость то и дело обгоняла громящие пыльные телеги и мужиков, идущих обок, тоже запылённых, усталых, едва поворачивающих головы на звон бубенцов.

Мне хочется сейчас, чтобы здесь, у постоялого двора, Пушкина встретил бы снеговой заряд, вполне уже возможный в этих местах в это время. Чтобы коснулось его именно там беспощадное в своём равнодушии сквозящее облетание множеств. И мне хочется этого не для вящего эффекта или собственного удовольствия, а для того, чтобы самому осязаемо почувствовать единую волну времени, слепое его движение, где всё-таки мы все переплетены нерасторжимо и навеки...

Но мало ли чего хочется. Достоверно известно, что осень 1833 года была суха, а настоящий снег встретил Пушкина уже на обратном пути, когда, посетив

Оренбург и Уральск, он спешил в своё Болдино.

«Того мало: выпал снег, и я обновил зимний путь, проехав вёрст 50 на санях», — это из письма жене, Наталье Николаевне, написанного уже из Болдина 2 октября, — о дороге из Уральска.

И ещё из того же письма:

«Надобно тебе знать, что нынешний год была всеобщая засуха и что Бог угодил на одного меня, уговоря мне везде прекраснейшую дорогу».

Но вот из более раннего письма, от 19 сентября, из Оренбурга:

«Насилу доехал, дорога прескучная, погода холодная...»

Итак, снега нет, но холодно. Так пусть хотя бы случайный заряд лёгкой сыпучей крупы при солнце и ветре встретит Пушкина в тот момент, когда он вылезает на постоялом дворе из коляски. Он придерживает шляпу рукой, а в его курчавой бородке белеют и тают жёсткие крупинки снега.

В той поездке Пушкин отпустил бороду и усы, может быть, для того, чтобы острее ощутить себя путешественником, искателем. Хотя, в общем-то, вся жизнь его была бесконечным путешествием и исканием. По подсчётам пушкинистов, Александр Сергеевич наездил за жизнь 34 тысячи вёрст. Это и по теперешним временам немало, а если учесть, что мир, наблюдаемый

из окна довольно медленно передвигающейся коляски, несколько иной, нежели видимый из иллюминатора самолёта или даже из окна мчащегося поезда, то Пушкин и здесь вне конкуренции. Свой мир он рассматривал пристально и неспешно, и этот мир был веществен, осязаем, густ и до предела насыщен общением.

Его физическая связь с землёй была абсолютной, прочувствованной навсегда ногами, всем телом — на тряских грунтовках России, на бесконечных мостках и бродах, на крутизне Симбирского спуска к Волге, на каменистых тропах Молдавии и Кавказа...

16 сентября 1833 года...

Какие бы точки опоры расставить вокруг этого дня, чтобы он не зависал в воздухе? Что происходило в этот или близкие к этому дни на необъятной Родине моей? На чём самом дорогом сосредоточиться, чтобы возник объём именно живой жизни, а не свитка дат?

Тридцатилетний Тютчев прибывает в Грецию с дипломатическим поручением. Им написаны к этому году и гениальное «Silentium!», и «Весенние воды», но как поэт он никому ещё не известен. Примерно в этот день он сочиняет фантастический «Сон на море», стихи совершенно невероятные и едва ли не единственные такого рода в его творчестве,

где он «зрел тварей волшебных, таинственных птиц».

Льву Толстому — пять лет.

Тургеневу — пятнадцать.

Двадцатичетырёхлетний Гоголь в Петербурге работает над «Историей Малороссии» и мечтает о кафедре истории в только что открывшемся Киевском университете. В этих странных претензиях на академическую учёность уже и современники его видят зерно будущей болезни духа, будущих противоречий, приведших писателя почти к полному самоотречению и сжиганию своих рукописей.

Кстати, пушкинская поездка в Оренбуржье прямым образом сказала и на творческой судьбе Гоголя. Поэт позже рассказал Гоголю, что губернатор Оренбурга Перовский был предостережён секретной бумагой о том, что Пушкин прибыл не для сбора пугачёвских материалов, но для тайной ревизии действий местных чиновников. Этот полуанекдот был блестяще использован Гоголем для создания «Ревизора». Но это позже...

Двадцатидвухлетний Белинский, исключённый из Московского университета, пробавляется в это время случайной переводной работой, изучает современную ему литературу, и он весь уже на подходе к себе, к тому Белинскому, чьи суждения спустя некоторое время станут духовной опорой разночинной

России. Чахотка уже подкрадывается к нему, и если дух его только лишь начинает воспламеняться и восставать, то тело уже медленно и неотвратимо умирает...

Где-то рядом, в той же Москве, марширует по плацу юный курсант Школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров Михаил Лермонтов. Впереди ещё один год муштры, казёнщины и почти абсолютной творческой пустоты. Здесь рядом, может быть, даже плечом к плечу стоит его товарищ Николай Мартынов, чьей пулей он будет убит спустя 8 лет. Пути убийцы и жертвы уже сблизилась и пошли далее неумолимо и безысходно, до последнего пересечения...

Мой спутник неожиданно повернулся и внимательно посмотрел на меня. Наверное, я пробормотал что-то вслух и, чтобы отвлечь внимание, спросил:

— Вы не знаете, когда Дантес прибыл в Россию?

Мой спутник улыбнулся и не без иронии чётко ответил:

— Молодой шуан Дантес прибыл в Россию на корабле «Николай I» первого октября 1833 года... Кстати, вместе с бароном Геккерном.

— А когда примерно отплыл?

— Ну, это довольно легко подсчитать... Видимо, где-то в середине предыдущего месяца... Этак 16 сентября...

Я чуть не вздрогнул. Значит, в тот день, когда Пушкин проезжал мимо маленькой Бузулукской крепостцы, будущей моей родины, Дантес садился на корабль, чтобы плыть в Петербург. Через три года он убьёт Пушкина, и все эти три года, начиная с 16 сентября, пути их будут неотвратимо сближаться...

Снег всё мчался навстречу автобусу, но странно — дорога была не замечена, видимо, автобус шёл или вместе со снеговым фронтом, или вдоль него. Хаотическое, бесчисленное опадание с бесконечными пересечениями лепило пространство впереди, и не было никаких видимых законов и закономерностей в моментах этих опаданий и пересечений. И не было никакой возможности понять необходимость пересечения и наших судеб, моей и моего усталого спутника, который снова задремал рядом...

Тридцать пять лет назад восьмилетний мальчик, сидящий на открытой платформе эшелона, вывозящего людей из разрушенного землетрясением Ашхабада, этот мальчик едва ли мог предположить, что будет когда-то бок о бок сидеть с героем своей любимой книжки, с Травкой, живым, правда, сильно изменившимся и уже давным-давно не мальчиком...

На ночь эшелон останавливали прямо в пустыне. Из саксаула

и сухой травы разжигались большие костры, и все эвакуированные жарили батат и открывали банки с баклажанной икрой, этот единообразный паёк беженцам...

Запах жареного батата я помню до сих пор так же отчётливо, как голос моей матери, звавшей меня по имени, когда они с отцом откапывали меня из-под развалин нашего обрушившегося дома. Меня спас толстый текинский ковёр ручной работы, сползший со стены вместе со штукатуркой.

При свете саксаулового костра, овеваемый запахами жареного батата, который запросто именовался мартошкой, я дочитывал «Приключения Травки» — единственную книгу, которую я сумел вытащить из-под развалин дома. Потом и эти развалины были придавлены рухнувшей позже глухой стеной соседнего драмтеатра, кстати, имени Пушкина. Нашего тогдашнего дома не стало. У нас было потом множество разных жилищ, в том числе и тот последний наш дом у дороги, где когда-то проезжал Пушкин.

От костров доносились смех и плач. Многие потеряли близких там, в мгновенно уничтоженном городе, в его пыльных руинах и пожарах, бушевавших ещё несколько дней... Многие говорили об атомной бомбе, о том, что первая мысль после катастрофы возникала именно о бомбе, что

было вполне резонно: шла холодная война, и нам бесперерывно грозили.

Как я мечтал быть Травкой! Я мечтал пойти в зоопарк, заблудиться, как он, в метро, есть эскимо на бульваре... Я не знал, что такое эскимо, что такое зоопарк и бульвар, — я многого не знал и не поверил бы в то время, если б узнал, насколько интереснее было бы самому затравленному московскому Травке быть мной, мальчиком после землетрясения, едущим на открытой платформе через пустыню, читающим книгу при свете саксаулового костра, овеваемым сытным запахом сладковатой чужеземной мартошки.

Я посмотрел на своего спутника, на его совершенно белую, коротко остриженную голову, и мне стало нестерпимо его жалко, и жалко-то, в общем-то, не его, человека, вполне и по таланту преуспевшего, а жалко его возраста, его большой и сложной жизни, подвигающейся к тому, что не остановить, не оградить никаким душевным порывом...

Мой спутник, видимо, почувствовал взгляд и вопросительно поглядел на меня.

— Скажите, что такое шуан?

— Однако же... Вы, часом, не стихи ли сочиняете, батенька? Шуан — это, грубо говоря, контрреволюционер... Солдат европейских монархий... Что ещё?

— Дантес... Когда он умер?

— Дантес умер в городе Сульце поздней осенью 1895 года, прожив 83 года... Геккерт, кстати, прожил 94... Живучи были, подлецы...

Снег бесконечно летел навстречу, слабые тени Чингизских гор едва угадывались за окном, и опять захотелось заглянуть за временные границы, переселившись воображением в такую же снежную осень 1895 года, в год смерти убийцы Пушкина, поискать какие-то опорные точки.

Поздней осенью 1895 года Лев Толстой писал «Воскресение».

Владимиру Ульянову было двадцать пять лет.

Тургенев и Достоевский уже умерли.

Попов испытал свой аппарат, прототип радио.

Немецкий торговец дикими зверями Карл Гагенбек, прогорев с животными, осваивал новое прибыльное дело: «этнографические» выставки. В тот год в Берлине показывали калмыков. Живые люди со своим скарбом, с верблюдами, детьми, юртами, были выставлены на обозрение обожравшейся зрелищами публике...

Калмыки... Судьба этого народа вплотную соприкасается с судьбой казахского народа. И абаевский род тобыкты кочевал как раз на прежних землях калмыков, переселённых Татищевым

за Волгу, на Чёрные земли. Этноним «калмыки» прочно запал в лексикон и память Пушкина, и он не раз путал, вернее, поддавался инерции речи, называя калмыками и казахов, и некоторые кавказские народы.

Поздней осенью 1895 года, когда далеко на западе в городе Сульце умирал престарелый Дантес, здесь, в Чингизских горах, в небогатой юрте, освещаемой огарком свечи, тучный, задышающийся, пятидесятилетний Абай прощался со своей молодостью и надеждами. В этом году в Верном умер от костного туберкулёза его двадцатичетырёхлетний сын Абдрахман, блестящий артиллерийский офицер, опора, радость, мечта отца.

Справа налево беглой арабской вязью Абай записывал страшные строки, рождённые одиночеством, горем, непониманием, — трагические стихи, упрёк и стон уже сомневающейся в своём предназначении души:

*Детство ли, юность ли
вспыхнут впотьмах
Там, у начала дороги, —
Всё уж неярко в усталых
глазах
Старости, что на пороге.
Что же ты понял и что ты
постиг
В горестях белого света?
Не в пустоту ли срывался
твой крик,
Вдаль — без ответа?*

*Или на привязи лет, словно
зверь,
Только и бился в закрытую
дверь?*

Такие стихи могли бы стать беспощадным упрёком и иной стране, и иному времени...

Я никак не могу увезти в своём воображении Пушкина с места моей родины. Как медленно перепрягают лошадей, как долго и нудно бранится с ямщиками во дворе пьяный Ипполит! Он опять тайком хлебнул хозяйского вина и шумит, создавая видимость усердия и рвения.

«Одно меня сокрушает: человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьёт мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом», — сетовал Пушкин в письме жене от 19 сентября уже из Оренбурга.

Коляска перепряжена, пора ехать... А хороши здесь лошади — киргизские кони!

Через пятьдесят лет сюда будет приезжать за лошадьми Лев Толстой, и местная ежегодная Петропавловская ярмарка будет регулярно пополнять конюшни его богатого самарского имения. А ещё через семьдесят пять лет снесут бульдозерами и величественный Петропавловский собор перед базарной площадью, поставив на его месте унылую

железобетонную коробку, которую кощунственно назовут кинотеатром «Берёзка»...

Станционный зритель медленно переписывает подорожную гостя в почтовую книгу, Пушкин вяло жуёт копчёного рябчика, прихлёбывает мадеру, смотрит в окно и, наверное, с грустью думает, что ещё и до места не доехал, а уже так надоела эта скучная дорога, пыль, эти пустынные и убогие места... Осень за окном сера, и вся краса её прощальная, — разве только вон в том рыжем деревце у забора да в белёсом небе с облаком шинельного цвета... Это не оно ли осыпалось давеча крупой снеговой? Не начались бы дожди... Нечего тут клопов присиживать, пора, пора, пора ехать...

— Пора бы приехать, — недовольно проговорил мой спутник. За окном снега уже не было, мы наконец-то обогнали ненастье, и автобус теперь мчался уже в бесснежной тьме, едва раздвигая её перед собой двумя пучками света.

— Ну и как, додумали свою извечную русскую думу? — спросил меня мой спутник, намереваясь, видимо, затеять какой-либо интересный разговор.

— Какую думу?

— О Пушкине, конечно, о Пушкине.

— Нет... Этого, наверное, не додумать... Знаете, я даже не

могу его представить... Живо-го... Так, какие-то зыбкие отдельности, штришки... Неподвижный муляж... А вы?

— Я? Я раньше мог... Вернее, осмеливался его представить... А теперь... Видите ли, чем больше начинаешь знать о предмете своей любви, тем уже границы воображения, тем трудней представить себе родное... Как бы вам поточнее... Обогащаясь знаниями, обретаешь и ответственность за истину, а ответственность требует всё больших знаний... Безвыходный круг...

— А Тынянов? А матвеевские портреты? А Анна Ахматова, наконец?

— Всё это личностные преломления... По мере сил, по мере таланта... Иногда очень убедительные, порою — гениальные преломления-догадки, но всё равно не реальность... Всё это — их Пушкины. А Пушкиных на земле ровно столько, сколько русских... К сожалению, Пушкин большинства — это учебниковый, тот, что проходили, за которого получали двойки и пятёрки... Царь, Дантес, Наталья Николаевна, друзья-декабристы... Ну, ещё ленивый Дельвиг, импульсивный Кюхельбекер, любимая няня... Буря мглою небо кроет, пора, мой друг, пора... Этот хрестоматийный Пушкин никогда не матерился, избави Бог, не пил вина, не волочился без конца за

женщинами всех возрастов и условий... Хотя их у него, по его же скромным подсчётам, было 113, не для досужих сплетен будь сказано...

— Перегнули!

— Не более чем сам Пушкин, не более... Да поймите же наконец, ведь Пушкин был живой, из плоти и духа, вот как вы, как я... Вот потрогайте себя, вы живой? Ну точно такой же был и Пушкин... А это как раз самое труднопредставимое... Кстати, вы сами что получали по Пушкину, пятёрки небось?

Я не ответил. Опершись о сиденье, я смотрел вперёд, через плечо шофёра, в то пространство, которое мы пересекали уже давно-давно, почти всю жизнь. И где-то там, в начале жизни, возник опять тот запыхлённый азиатский городок с полуденными криками ишаков, с мутными арыками, дувалами с вмазанным поверху битым стеклом, которое блестело и сияло в азиатском солнце так, что больно было смотреть.

Нас, эвакуированных после землетрясения детей, в новой школе звали травмированными. С нами нянчились, прощали шалости, не ставили двоек. Но этой нашей исключительности не могли нам простить наши сверстники, аборигены этой школы. Они звали нас обидно и беспощадно — «трахнутыми» — и щедро возмещали на наших загравках всю

свою неисключительность. Террор прекратился тогда, когда в школу прибыла ещё одна группа эвакуированных детей, из госпиталей и больниц. Некоторые были ещё в повязках, и это совершенно ошеломило старожилы школы, наглядно, простыми и грубыми средствами представив им истину...

Рядом с этим небольшим городком в пустыне разворачивалось в те годы грандиозное строительство сверхканала. Было много шума, рекламы, но потом всё это как-то заглохло, переиначилось, отодвинулось, чтобы спустя десяток лет вновь возникнуть, но уже без трескотни и помпы, по-деловому, — и воплотиться-таки в тот самый канал, который сейчас подошёл уже к самому Каспию.

В разгар той шумихи в городке в числе десятков корреспондентов набивал руку на ура-репортажах и молодой двадцатипятилетний газетчик, впервые вкушающий неблагодарный репортёрский хлеб. Наши пути скрестились на мгновение, пути травмированного землетрясением мальчика и прототипа Травки, уже порядочно повзрослевшего и почти забывшего о ненавистном герое... Вполне возможно, мы встретились и физически. Я тогда начинал курить и на всю жизнь запомнил крепкий подзатыльник молодого, носатого, высокого мужчины с густой чёрной

шевелюрой, который вырвал у меня изо рта окурки и с возмущением растоптал его. Это было у дверей областной газеты...

Чем больше я вглядываюсь в ту искорку памяти, высветившую мне лицо случайного прохожего на улице азиатского городка, тем более я утверждаюсь в том, что это был мой теперешний спутник.

Я никогда не расскажу ему о своей догадке, да он и не поверит, а мне будет стыдно...

По вечерам у окна, притенённого огромным тутовым деревом, я зубрил Пушкина. Ненавистные стихи были тяжелы и непонятны:

*Октябрь уж наступил –
уж роца отряхает
Последние листья с нагих своих
ветвей;
Дохнул осенний хлад –
дорога промерзает.
Журча, ещё бежит за мельницу
ручей...*

Ишаки ощипывали верблюжьей колючкой под дувалом, в длинном полосатом халате шёл куда-то старейший туркмен с двумя дынями под мышкой, гремели лягушки в арыках, — и стихи, заданные к завтрашнему, совершенно не влезали в этот мир, они были абсолютно чуждыми и издевательски косноязычными:

*Но пруд уже застыл; сосед мой
поспешает
В отъезжие поля с охотою
своей,*

*И страждут озими
от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие
дубравы.*

Страждут озими — это было выше понимания, казалось, что это вообще не по-русски...

По Пушкину я никогда не имел даже четвёрток, а двоек нам, травмированным, в тот год не ставили...

Сейчас-то я знаю, сколько музыки, гармонии и бесконечного подтекста таят в себе эти изумительные по чистоте стихи, какой это праздник — перечитывать Пушкина... Сейчас я знаю ещё, что «Осень» он написал сразу по приезде из Оренбуржья, в свою вторую болдинскую осень, такую же плодотворную, как первая... Мало того, догадываюсь, почему эпиграф к «Осени» — «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» — взят именно державинский.

Тень предшественника сопровождала Пушкина всю жизнь, и особо остро он почувствовал присутствие этой тени здесь, в оренбургских степях, где когда-то умирал пугачёвцев и сам Державин, — где-то недалеко от Мальковки повесил двух мужиков

и «высек плетями всю деревню». Пушкин записал в примечаниях к «Истории Пугачёва»: «И.И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости».

Здесь, на подъезде к городку моей родины, той крепостцы, из которой я постараюсь всё-таки в своём воображении увезти Пушкина, неподалёку находилось и бывшее имение Державиных, сейчас большое село, до сих пор сохранившее своё название. Тракт на Оренбург проходил мимо самого имения, и Пушкин, проезжая, не мог не ощутить ещё одного толчка памяти и, может быть, мысли о странной связи и движении судеб...

Мой Пушкин, наконец, садится в коляску, втягивает за собой полы плаща и быстро захлопывает дверцу. Ворчит что-то про себя Ипполит на переднем сиденье, упаковывая и подвязывая корзины, щёлкает бич ямщика, коляска трогается. Сытые свежие кони потянули сразу и сильно, и тройка с разворота вынеслась со двора на тракт.

А дальше...

Я хочу предельно растянуть этот момент своего воображения, эти пять минут, потому что они самые важные для меня.

Сейчас коляска спустится в суходол, потом вновь подни-

мется. Пушкин бегло скользнёт взглядом по крестам слева от дороги и по маленькой часовенке привычного сельского погоста. На этом кладбище через 140 лет будет похоронена моя мама... А немного дальше и уже справа Пушкин мимоходом приметит бугор, заросший степным терновником и иван-чаем, побуревшим и сухим уже. Здесь будет стоять наш дом, последнее пристанище нашей разрушенной семьи... Дом моей родины...

И ещё мне хочется, чтобы Пушкин, оторвавшись от созерцания скучной степной местности, вдруг почувствовал бы непреодолимое желание писать. Мне хочется, чтобы именно здесь он записал бы в дорожный альбом стихотворение, которое останется помеченным: «1833, дорога, сентябрь».

*Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждающей души,
Я здесь остался б –*

наслажденье

*Вкушать в неведомой тиши:
Забыл бы всех желаний*

трепет,

*Мечтою б целый мир назвал –
И всё бы слушал этот лепет,
Всё б эти ножки целовал...*

Больше у Пушкина не было ничего, помеченного «дорога, сентябрь». И не об этом ли стихотворении напишет поэт жене

своей из Оренбурга спустя три дня, 19 сентября: «А уж чувствую, что дурь на меня находит, — я и в коляске сочиняю».

Но почему мне кажется или хочется, чтобы это стихотворение написалось бы именно здесь, возле маленькой ничтожной крепости, затерянной в диких степях? А это как раз полпути между Симбирском, где у Пушкина были неприятности в дороге (пришлось возвращаться и ехать другим путём), и Оренбургом, где его ждала большая работа по сбору пугачёвских материалов, где его ждал В. Даль, поездка в Бёрды и Уральск — и где, естественно, было не до сочинительства.

16 сентября — это как раз абсолютное психологическое зависание, точка наибольшего освобождения от предыдущих забот без надвигающихся будущих. Степь, неведомая тишь и глушь, печальное вопрошающее безвременье...

Мы, кажется, подъезжали. Вдали за холмами разливалось понизу зарево ещё невидимого города; автобус оживился, послышались разговоры. Мой спутник тоже несколько взбодрился и был уже весь внутренне там, в своём кабинете, у своего стола, в своей работе, которой у него накапливалось всегда, как он выражался, под завязку... Ну а пути-дороги

— что ж, это обычные издержки производства, досадные пустоты, — и хорошо, если в дороге есть попутчик, и лучше, если б не надоедливый... Но у меня вертелось ещё несколько вопросов, и мой спутник, видимо, почувствовав это, сам пошёл навстречу:

— Вы всё ещё с Пушкиным?

— Да... Как вы думаете, что было основным у Пушкина в жизни? Не просто основным, а внутренне непреходящим?

— Ого! Так прямо и сказать? Хотя что ж... Грубо говоря, стремление к покою и воле. Покой и воля — это же хрестоматийно, об этом он непрерывно писал и сам...

— Но, может быть, это так, дань настроениям?

— Что ж, давайте проследим, это несложно...

Мой спутник знакомо мне насупился, несколько склонил свою небольшую седую голову, и мне в который раз показалось, что он вновь что-то включает и перелистывает в себе, и вновь подумалось, какой это безупречный и прекрасно отрегулированный аппарат — его голова, как великолепно всё там устроено и налажено...

— Вот «К другу стихотворцу»... Заметьте, Пушкину всего 15 лет:

*Быть славным — хорошо,
спокойным — лучше вдвое.*

Конечно, здесь ещё перемены, юношество, но мысль не уходит:

*Не лучше ли в деревне дальней
Или в смиренной городке,
Вдали столиц, забот и грама,
Укрыться в мирном уголке...*

Это «Послание к Юдину», тоже юношество... А вот Пушкину уже 20, его знаменитое:

*Приветствую тебя,
пустынный уголок,
Приют спокойствия,
трудов и вдохновенья...*

Можно цитировать бесконечно... Вспомните, пожалуйста, «Узника», «Не дай мне Бог сойти с ума...», ну, наконец, «Пора, мой друг, пора!» Я не знаю, исследовал ли кто-нибудь пушкинскую тему убегания, наверняка кто-то копошился уже в этом, но мне кажется, это основная тема Пушкина, не внешняя, а внутренняя, даже подспудная, и она постоянно пробивалась у него, иногда даже вопреки желанию.

— Вы не упомянули ещё стихотворение «Калмычке»...

— Ах, да, конечно же:

*...Не всё ль одно и то же:
Забиться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой?*

— Или в кибитке кочевой, — невольно повторил я и спросил: — Как Вы думаете, если бы перед Пушкиным стоял пример Абая, не усомнился ли бы он в верности своего стремления?

Мой спутник поморщился:

— Ну что Вы опять тасуете время, это не вполне корректно... Абай жил на своём месте и в своём времени, но вообще это явление, можно сказать, загадочное... Каким же духом надо было обладать, чтобы здесь, в абсолютной глуши, почти в полном духовном и творческом одиночестве бороться, творить, мало того, экспериментировать... Поставь сейчас наших поэтов в подобные условия, то есть не плати им гонораров, не издавай их, не печатай, не давай им общаться друг с другом, — да они едва ли не поголовно прекратят всякое творчество, сдадут машинки в комиссионки и пойдут трудиться в конторы... Вообще, повторяю, вопросы странные... Ну как можно перекраивать временные границы, да ещё так произвольно?

— Да, конечно... Но, простите, ещё вопрос... Где написано Пушкиным «Когда б не смутное влечение...»?

— Пушкин подписал это довольно точно: «Сентябрь, дорога». А вот где? Сам я думаю, вернее, мне хотелось бы, — по дороге из Уральска в Болдино, то есть на казахстанской земле...

Хочется, чтобы хоть одно стихотворение Пушкин написал здесь, в Казахстане... Но это моё, так сказать, личное желание, я ведь патриот этого края... А вы думаете иначе?

— Я думаю, эти стихи написаны несколько ранее...

— Ну что ж! Останемся каждый со своим... Всё равно, наверное, ничего уже не докажешь...

Мы подъезжали. Горизонт весь был в зареве большого города. Зарево мерцало, переливалось, и общий волнующийся свет постепенно дробился на отдельности. Из размытого светового облака воспаряли точечные множества, и каждое было огнём. Когда дорога поворачивала, начинали кружить и разворачиваться и эти огни; они выскакивали, заслоняли на мгновение друг друга; иногда одни светили ярче дру-

гих — двойным, тройным светом, иногда гасли совсем.

Где-то над этим светящимся, колеблющимся маревом в дымке зыбкой улетаала вдаль от меня коляска Пушкина, и два мальчика бежали вслед за ней, может, это были Травка и мальчик после землетрясения...

Сквозящим ветром выдувалась из-под ног их почти невидимая пыль, незаметно застилая дали, видения, их самих...

И никогда б, ничего б не разглядеть в этой мгле, в этом бесчисленном туманном облетании множеств, хаотично перечёркнутом миллионами непредсказуемых пересечений, когда б не смутное влечение, когда б не горчащая, пронзительная надежда и вера в то, что все эти пересечения неслучайны и что мы живы именно и тем лишь, что бесконечно сталкиваемся и пересекаемся друг с другом.